Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке http://filosoff.org/ Приятного чтения!

П. Б. Струве Романтика против казенщины

Имя г. Розанова является, наверное, для большинства читателей синонимом обскурантизма и изуверства. Спору нет: в умственном творчестве г. Розанова есть явственная доля изуверства. Но, с другой стороны, среди современных русских писателей вряд ли кто другой нанес практическому обскурантизму и изуверству столь тяжелые литературные раны, как Розанов. Публицисты, так называемые прогрессивные, и публицисты реакционные по основным вопросам так разномыслят, что не могут с успехом оспаривать друг друга аргументами и даже словами. Их полемика не может не быть противопоставлением двух по существу и в корне, toto coelo {резко отличаются (буквально на "целое небо") (лат.).}, враждебных точек зрения. Г-н Розанов находится в ином положении. Он в "их" собственном лагере поднял знамя восстания; он грозит изнутри взорвать цитадель реакционного мировоззрения; он враг не внешний, а внутренний и потому он страшен, гораздо страшнее гг. Арсеньева1, Михайловского и даже Владимира Соловьева. Да не подумает читатель, что г. Розанов обратился в либерала или даже радикала. Ничуть не бывало. Г. Розанов остался тем, чем он был. Дело только в том, что он sit venia verbo {если так можно выразиться (лат.).} диалектически развил в своем собственном духовном содержании внутренние противоречия, присущие консерватизму как культурному миросозерцанию.

Г. Розанов был призван показать глубокую рознь исторически и психологически неразрывно скованных друг с другом зиждущих начал консерватизма.

И роковое их слияние,
И поединок роковой2.

Не он, впрочем, первый несет в себе и выносит наружу это зияющее противоречие.

История славянофильства, к которому г. Розанов, в сущности, примыкает, есть та же идеологическая драма, но только в более крупных размерах. Сперва это гонимая или еле терпимая казенщиной романтика, с широким размахом мысли. Таково славянофильство в эпоху расцвета. Затем, в эпоху декаданса, эта романтика была обращена на казенные надобности и жив дух ее вынут. Но поскольку славянофильство духовно живо до сих пор, оно остается бьющейся в казенных цепях романтикой, протестующей или, по крайней мере, фрондирующей. Даже г. Шарапов (да простят мне крупные тени старых славянофилов кощунственное сопоставление их с г. Шараповым!), даже г. Шарапов и тот вопиет против казенщины.

Консерватизм может быть или целостным культурным миросозерцанием, как у славянофилов, или узким направлением практической политики, как у Каткова. В первом случае консерватизм непременно заключает в себе элементы романтики. Общественной романтикой мы называем именно стремление к такому целостному общественному строю, который в жизни или вытесняется, или уже совершенно вытеснен. Романтика всегда поклоняется мертвому или полуживому, но в то же время целостному и идеально одухотворенному. Мне могут сказать, что под это определение романтики подойдет и прямая ее культурная противоположность: ренессанс классической древности. Но ренессанс только внешним образом, по форме, был воскрешением из мертвых и возрождением; внутренне, по своему культурно-общественному содержанию, он был не возрождением, а рождением нового европейского человека, совершенно не похожего ни на средневекового, ни на античного. Романтическая маска воскрешения мертвых прикрывала критический процесс мучительных родов нового человеческого существа. Исторически "ренессанс" смотрел вперед, а не назад; романтика же всегда смотрит назад. Исторически "ренессанс" {В этом смысле в истории был только один ренессанс.} рождал и родил, романтика возрождала и оживляла, но ничего не возродила и никого не оживила. Конечно, и в романтике были и есть элементы живучие, но эти элементы принадлежат не романтике как таковой, это атрибуты той "человеческой природы", отрицание которой ныне вошло в моду.

Как бы то ни было, консервативная романтика, создавая или воссоздавая целостный культурно-общественный идеал, требует его целостного воплощения в жизни. Консервативная казенщина охраняет данную конкретную и в своей конкретности, наличности и несомненности грубую действительность соответственными параграфами, а также не выраженными ни в каких параграфах "мероприятиями". Романтика идеалистична и даже более того мистична; казенщина отличается иссушающим реализмом практичности. У нее нет целостного идеала; она всегда направлена на частности и с ними превосходно, в пределах "задания", справляется. Если бы жизнь всегда укладывалась в частности и всегда была бы так же трезва и практична, как казенщина, то

бесконечное торжество последней над жизнью было бы обеспечено. Вспомним теперь о том несомненном факте, что даже самый романтичный консерватизм, переходя из теории в практику, пользуется, по общему правилу, для своего воплощения чисто "казенными", т. е. совершенно внешними, до грубости внешними средствами, и мы поймем ту внутреннюю драму консервативного миросозерцания, которая так ярко разыгрывается и в умственном творчестве г. Розанова.

Если не ошибаемся, драма уже сыграна. Романтика победила, и г. Розанов, таким образом, практически перестал быть консерватором.

В его лице наше современное консервативное направление потеряло (и навсегда, думается мне) самую крупную философскую голову и самый замечательный литературный талант. И во всем этом виноват романтизм, возвышающийся у г. Розанова до глубочайшего мистицизма. В самом деле: если консервативный идеал имеет романтико-мистическое содержание и мистическую санкцию, то его нельзя поддерживать казенщиной, которая всегда проникнута рационализмом и практичностью. Наоборот, казенщина одним своим прикосновением убивает мистический идеал. Она опаснее для этого идеала, чем открытая и самая враждебная критика, потому что нападает незаметно, "аки тать в нощи", и умерщвляет изнутри, прикидываясь дружественной силой.

Самым ярким теоретическим выразителем чистой казенщины, отрешенной от всякой романтики и мистики, был Катков 80-х годов. Его либеральное прошлое, от которого он не разом отвратился, а постепенно удалялся, было хорошей формальной школой для его последующего казенного рационализма.

Но чем мог казенный рационализм привязать к себе консервативную романтику с ее страстным мистицизмом? Вот целая историческая проблема. Почему романтик Розанов пошел за практичными катковцами, или, наоборот, почему мистик Достоевский, продолжателем которого был г. Розанов, сделался кумиром и оракулом этих столь рациональных и трезвенных людей? Откуда, я ставлю вопрос вновь в его общей форме, этот логически и идеологически противоестественный союз мистической романтики с рациональной казенщиной? Я не буду рассматривать этого вопроса как социологическую проблему, не буду вскрывать реальных общественных корней этого любопытного идеологического альянса. Укажу только в немногих словах, что консервативная романтика, являясь идеологическим отражением определенных общественных интересов, необходимо должна звать на помощь казенщину и льнуть к ней и, с другой стороны, столь же необходимо, как социальный утопизм, приходить с ней в столкновение и от нее отталкиваться. С другой стороны, казенщина нуждается в поддержке тех общественных групп, которые рождают романтику как общественную идеологию; но, нуждаясь в романтике, она не может всецело отдаться ей. Укажу любопытный частный пример важной государственной реформы, явившейся на свет Божий как ответ на романтическое "алкание" (с этим понятием и словом мы еще встретимся у г. Розанова) определенной общественной группы, но ответ совершенно казенный и потому идеальным моментам романтики совершенно не удовлетворяющий. Я имею в виду институт земских начальников, характерный своим сочетанием бюрократического типа с классовым содержанием. Здесь меня занимает, впрочем, не социологическое, а психологическое отношение между казенщиной и романтикой в новейшей истории русской общественной мысли. Союз этих двух психологически враждебных и социально связанных духовных укладов определялся тем, что, помимо социальных причин, на которые мы только что намекнули, у них был общий враг: рационалистическая критика. Под этим названием мы объединяем все прогрессивные направления, враждебные как казенщине, так и мистике. Безраздельное господство этой рационалистической критики над общественной мыслью вызвало в 80-х гг. сильную казенно-романтическую реакцию. Но уже скоро в этом лагере стал обозначаться психологически неизбежный процесс разложения. Самым крупным фактом в нем было отпадение г. Владимира Соловьева, примкнувшего, несмотря на свой мистицизм, к либеральному "Вестнику Европы" {Психологически это меня не удивляет: мистицизм г. Соловьева, хотя иногда и выкидывает странные колена, в общем, все-таки бледный и скучный схоластический мистицизм, всего более способный вступить в комбинацию с умеренным либерализмом. Совсем иное яркий, но крайне капризный и вообще крайний мистицизм г. Розанова.}.

Гораздо позже откалывается, никуда не примыкая, г. Розанов. Я думаю, что он и не может никуда примкнуть, что он навсегда останется "диким". Он слишком мистик, слишком целостен и потому слишком индивидуален, чтобы принять какую-нибудь программу, сковать себя какими-нибудь частностями, тем паче казенными. Во всяком случае, г. Розанов отказался от казенщины: душа не вынесла.

Со свойственной ему чисто-юродивой силой он высказал это в статье "Катков как государственный человек" ("Биржевые ведомости", No 283 от 17 октября 1897 г.), написанной по поводу изданного г. Грингмутом сборника

"Памяти М. Н. Каткова"3. В этой статье г. Розанов вслед за г. Грингмутом характеризует политические программы западников и славянофилов и противопоставляет им программу Каткова. "Общее у них (западников и славянофилов), говорит г. Розанов алкание; и вот общее же у Каткова, неизменное на протяжении всей его деятельности сытость; сытость души эмпирическим содержанием действительности". "В этом заключается великая государственная заслуга Каткова", говорит г. Грингмут. О, нет, ответим мы: в этом его малость; в этом, и только в этом лежит губительная для его памяти сторона его деятельности, тут червь, точащий его пирамиду, и, наконец, мы решаемся даже это сказать; тут, в этом практицизме его лежит именно мечтательность его ума, неопытность сердца, незнание действительности. Тут он иллюзионист, создатель самых коротких и близко гибнущих видений... "Катков" и его "десятилетняя" память. Катков "как великий государственный человек". Нет малый. Почему? Он среди идущих и не тех, которые ведут. Его сущность, как она правдиво формулирована г. Грингмутом, и заключается не только в отсутствии, но до известной степени в коренном отрицании, в отрицании навеки, в отрицании для всего народа этих "зовущих голосов", этих таинственных "зовов", на которые, оборачивая во все стороны голову, мы не понимаем, откуда они несутся, но почему-то, все дела бросая, спешим их выполнить. Как это прекрасно выразил наш поэт, очевидно в себе эту глубокую тайну почувствовав:

Из света и пламя
Рожденное слово...
И где я ни буду,
Услышав то слово
Узнаю повсюду...
Не кончив молитвы,
На зов тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу4.

"Мы назвали Каткова, продолжает г. Розанов мечтателем: это потому, что им не принята в расчет коренная действительность истории, самый главный ее нерв, хотя в то же время и наиболее тонкий, менее всего грубо нащупываемый; и потому же еще мы назвали его "неопытным сердцем": он не знал человеческого сердца в древнейших, исконнейших его основаниях, тех основаниях, которые бросили военную Францию за 17-летней девушкой5, кинули Карно6 и даже позднее Бонапарта распространять "исповедание савойского викария", и, наконец, циничную и растленную, какова была она была при Борджиях7, римскую церковь повлекли вслед странного паладина, еще менее рассудительного, чем герой Ла-Манча. Все это, вся эта громада психики и реальнейшей действительностии осталась непонятной Каткову. Конечно, подобных движений мы у себя не знали; все было у нас меньше, бледнее; суженность русской истории сравнительно с европейской заключается в том, что "ветхий деньми" туман "юродства" и истинной "хромоты духа" чуть-чуть брезжил у нас в почти политических, т. е. узких и сухих, слишком "умных" для настоящей значительности партиях славянофилов и западников. Но и это ему не понравилось: даже бледную зарю "взыскуемого града", как еще говорит и, говоря, конечно, освящает апостол он хотел бы согнать с серенького неба нашей истории. Они еще "ищут" эти партии, они "алчут", когда он так "сыт". В самом деле, какая беда и "мука" для уравновешенности от этого. И вот "великий государственный человек" с помощью меньшего, но все же еще очень большого, тоже "государственного человека", взяв в руки "государственную клюку", хотел бы вымести всю эту "мистику", или, как говорит Федор Павлович Карамазов своей жене "Кликуше": "Я из тебя эту мистику-то выбью", не подозревая, он и они оба, что "малейший в царстве сем" непреоборимо сильнее их..."

Лучший (и теперь едва ли не единственный) философ русского консерватизма г. Розанов, становящийся на сторону романтического (славянофильского) и критического (западнического) алкания против казеной сытости (Катков), изображает собою историческую Немезиду последней. Он "омахровил", облаговонил цветок (т. е. консервативный идеал), "бережно отстранив из него все грубое", а Катков и катковцы постоянно напоминают о том, что за этим идеалом стоит "грубый эмпирический факт, слишком колючий, иногда и некрасивый". Этот эмпирический факт "насильствен без всякой мысли, без всякой правды, во имя коей насилие". "Насилие же я всегда признавал и это высказывал, это не устал высказывать... Ведь насилием, деспотизмом дышат многие писатели, из них назову Стефана Яворского8, Руссо, Байрона, Кальвина; да насильствен был и Лютер, даже наш Петр... Но что же могло

оправдать это насилие? Да аналогичное тому, что всегда его оправдывало, ради чего люди всегда насилие над собой прощали: высшая правда. Но высшая правда есть именно логика ума и чистые алкания сердца". Так говорил г. Розанов в том письме в редакцию "Северного вестника"9, в котором он раскрыл свое авторство заметки в "Русском труде", направленной против знаменитого грингмутовского предложения вторичной присяги.

Тут ясно вскрыта рознь между консервативной романтикой и консервативной казенщиной. Мистическое "насилие" г. Розанова не только не тождественно с теми скорпионами, за которых стоят катковцы, оно даже оскорбляется ими как поругание "высшей правды", ей же должно служить всякое насилие. Мне кажется, что г. Розанов со своей мистической точки зрения неправ, отстаивая и такое, подчиненное высшей правде, насилие; мне кажется, что теперь он даже отказался от этой позиции. Это и логично: перед мистическим идеалом, который есть, по существу своему, идеал нездешний или, во всяком случае, идеал невнешний, все политические формы равноценны или одинаково малоценны. С точки зрения этого идеала, даже грандиозное насилие Петра ненужно. Более того: оно вредно, поскольку всякое насилие понижает личность, так как именно с той религиозной или мистической точки зрения, на которой стоит г. Розанов, "личность всякая, которая жива, абсолютна, как образ Божий, и неприкосновенна" (""Легенда о Великом Инквизиторе" Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария В. Розанова", СПб., 1894, с. 44). Это либерализм и даже, точнее, индивидуализм, возведенный на степень мистицизма и религии, и автор этих строк рано или поздно должен был уйти из сонма "Московских ведомостей", где проповедуется оголенное от всяких идеальных моментов, но зато крайне практичное принуждение, принуждение себе довлеющее, "самоцельное".

Отпадение консервативной романтики от консервативной казенщины обусловливается еще вот чем. Союз их возник в эпоху борьбы, самозащиты против "воинствующей церкви" критического рационализма, по всей линии бывшей в наступлении. Казенщина, для того чтобы окружить себя известным ореолом, нуждалась в романтике; романтика могла искренно увлекаться казенщиной, которой угрожала опасность. Но затем общий противник был повержен во прах, и реакция восторжествовала по всей линии, даже в умах так называемого "общества". Началось осуществление программы, в котором сказалось поразительное идеальное бесплодие казенщины. Исчерпав себя до конца, опустошив и без того пустую и скудную жизнь, она, правду сказать, ничего не дала романтическому "алканию", ибо алкать вообще по штату не полагается. Обиженная казенщина возбуждала симпатии романтики, сытая (Катков) и даже пресыщенная (а потому отвратительная современные "Московские ведомости") ее раздражает, возмущает и отталкивает. Это психологически естественно, это социологически необходимо, потому что романтика ставит утопические цели, которых казенщина не может и не хочет осуществлять, вот почему момент борьбы с общим врагом, явно опасным, мог и должен был их объединять; момент торжества над обезвреженным врагом может и должен их разъединять.

Романтика г. Розанова, как мы сказали выше, примыкает к славянофильству в той мистической окраске, которую придал ему Достоевский. От славянофилов г. Розанов отличается большей напряженностью мистического чувства; от Достоевского его отделяет широкая и глубокая философская культура ума, меньшая жестокость, более живое уважение к человеческой личности. Однако, несмотря на бесспорную философскую культуру, г. Розанов поражает своей удивительной наивностью, и именно потому поражает, что он в то же время глубокий мистик.

Сборник статей, заглавие которого нами написано выше, открывается хитроумной, до краев полной мыслей, статьей "Сумерки просвещения".

В ней автор разбирает современное эклектическое образование, символизируемое им в образе создания гомункулуса искусственным путем.

"...После сорокадневного брожения в закрытой колбе вещество оживляется и двигается, что легко видеть. Оно принимает форму, отчасти подобную человеческой, но совершенно прозрачную и еще без corpus. После того его нужно кормить arcano sanguinis humani {тайная человеческая кровь (лат.).} в продолжение сорока недель и держать постоянно при одинаковой теплоте ventris eguini {брюхо кобылы (лат.).}; тогда выйдет совершенно живое человеческое дитя, со всеми членами, какие бывают у всякого другого дитяти, рожденного женщиной, но только гораздо меньшей величины; такое дитя мы назовем Homunculum.

Эти слова Парацельса10 об искусственном, помимо природы, способе образования человека, невольно припоминаются при взгляде на ту картину, какую представляет Европа в своих попытках образовать, уединяясь от истории, человеческую душу через соединение в ней путем воспитания

различных и одинаково ценных качеств. Задача знаменитого алхимика по своему смыслу и основаниям была лишь слабым прообразом той задачи, которая с неменьшим упорством и гораздо большей уверенностью в успехе осуществляется повсюду, во всех странах, в наш век: выработать в искусственных условиях, лишь подражающих природе, живой организм, вырабатываемый только через ее таинственные процессы" ("Сумерки просвещения", с. 1).

В образовании, осуществляемом современным государством наподобие создания гомункулуса, г. Розанов видит воплощение мечты Руссо Эмиля11.

"Есть два пути воспитания, говорит Розанов в развитие этой мысли, естественный и искусственный. Первый путь состоял почти исключительно из непосредственных созерцаний, и под влиянием их в духе и смысле каждого века возрастало новое поколение. В Древней Греции предметом этого воспитывающего созерцания служили памятники искусства, картина всей широко развитой общественной жизни, религиозные процессии, мистерии и более всего прекрасные учреждения полу-городского, полу-государственного характера. Как орудие, и очень могущественное, такого воспитания, уже все это понималось людьми того времени: об этом читаем мы у Фукидида, об этом же говорил Демосфен. В более узком, но в подобном же духе, было воспитание в Риме.

В средние века изменился до противоположности и дух, и смысл воспитания, но его орудия остались те же.

С прежними богами ушел в землю и прежний человек... Неузнаваемо переменился человек, но одно сохранилось в нем красота его, став вместо внешней более внутренней. Рыцарь, как и марафонский воин, как и сенатор в годину Канн, были, каждый по своему, прекрасны... С конца прошедшего века, когда старые произрастания погибли и для всего заложены были новые семена, одно семя заложено было и для нового воспитания. Его бросил на землю незадолго перед великим историческим катаклизмом человек, о котором из всего, что было высказано, вернее всего было бы сказать, что это был самый искусственный, наименее естественный по натуре из тех, какие знает история, порождений женщины; и вместе он одарен был силою привлечения к себе, какою мало кто обладал в ней. И мощь даров его, искусственность его природы отпечатались в трудах его: семя, им брошенное, жадно принялось землей, и когда возросло оно, осенило землю зловещей тенью" ("Сумерки просвещения", с. 76-77).

Странное впечатление производит это нефилософское и вовсе уж немистическое деление явлений на естественные и искусственные. Но этот рецидив "естественного порядка" и "естественного права", при всей его научной несостоятельности, пожалуй, даже симпатичен нам. Ведь за последние 30 лет не было такого здравомысленного и позитивного осла, который не считал бы своим долгом лягнуть, как теоретическое построение навеки опочившую, но как практическое начало, не умирающую, вечно юную идею естественного права. Но философу г. Розанову не пристало подпирать свои практические, хотя бы и неоспоримые, мысли такими плохими теоретическими костылями. Впрочем, г. Розанов в данном случае всецело повторяет великих романтиков права, Савиньи и Пухту12, которые, отрицая современное им естественное право рационализма по его содержанию, любезное им романтическое право превратили в естественное. Так и г. Розанов, отрицая естественное воспитание по идеям Руссо, свой собственный идеал воспитания возводит в ранг естественного. Нефилософская это операция, да к тому же неужели "естественность" (допустив на минуту, что она не есть фикция) является достаточной для мистических потребностей санкцией? Ведь это, г. Розанов, не мистика, а чистый натурализм, преклонение пред фактом и т. д. и т. д.!

Но оставим г. Розанова сводить философские концы с концами и посмотрим не на санкцию, а на содержание его идей. Г. Розанов отрицает чисто-начисто современную европейскую культуру.

"Все чувствуют, и уже давно, в Европе, странную безжизненность возрастающих поколений. Они безжалостны не в одном каком-нибудь отношении, они лишены не которых-нибудь даров, будучи богато оделены другими. Именно ядра в них нет, из которого растет всякий дар, все энергичное в действии или твердое в сопротивлении. Та "искра Божия", которая светится в человеческом образе часто сквозь мрак, его одевающий, сквозь его грубость, необузданный произвол, невежество, в этих поколениях, наружно лоснящихся, ничего выдающегося дурного не делающих, как будто погасла и ее ничто не способно пробудить. Странная антикультурность на исходе XIX века, самой великой эпохи в истории культуры, поражает в них: они не только не продолжают своего времени, не суть дети безумного в порывах своих

"просвещения" XVIII-XIX веков; они и не принадлежат ни к какой другой эпохе, не сочувствуя и не понимая более ни одной из отживших культур. Христианство с его высоким спиритуализмом, аскетическими подвигами, углубленной святой лирикой ничего не говорит их сердцу, возбуждая или кощунство, или равнодушие, или слабые попытки его переиначить; и того культа плоти, того самоуслаждения человека своей красотой, которым жила древность и что вспыхнуло и ярко засветилось на рубеже средней и новой Европы, в них нет не только как собственного чувства, но и как пониманий чужого чувства. И нет никакого желания по уединенному труду, по героизму мысли, по отречению ради отыскания истины от всех утех жизни последовать необозримому множеству тружеников на всех поприщах за три последних века. Как будто какая-то предательская рука, подкравшись к лезущему на Олимп поколению прежних титанов в миг, когда они были так горды, так упоены близкой победой ослепила их, и сразу потух свет в их глазах, укротилось желание, спала гордость, и они одинаково безнадежно смотрят на небо и землю" (с. 6-7).

"...По истечении восемнадцати веков христианской культуры, непрерывного исторического созидания... непрерывно возрастая до этого времени, лик европейского Запада с тех пор начал обратно суживаться. Лишние, столь долго его красившие тени одна за другой сходят с него, и он вновь принимает всюду, во всех направлениях, одно выражение. Быть христианином, как и быть действительно независимым художником или мыслителем, наконец, быть отцом прочной семьи все это слишком трудно и сложно стало для человека, все это требует обилия творческих и организующих сил, и, не находя их более, слагается для облегчения индивидуума.

Рост государственности в Европе всюду идет рука об руку с развитием индивидуализма этого уединения человека в себя, вдали от общества. Гражданский долг, который затем остается, это уже давно не долг римлянина, или даже афинянина: это только отсутствие всякого долга, озабоченности, предоставление другим досужим или оплаченным людям нести бремя тревог, ответственности, какое возлагает на каждого полнота человеческого существования.

Все связи, всякий лишний убор прав, обязанностей, забот слагается с себя индивидуумом, чтобы, уйдя из-под них, он мог на досуге предаться своим маленьким наслаждениям или просто, чувствуя себя свободным, не чувствовать позади себя никаких напоминаний. Мы сказали о язычестве, к которому передвигается европейское человечество с христианских основ; но это не прежнее мощное язычество Рима; это новое маленькое язычество перед своим "я", в стороне от больших путей истории, и даже с возможным забвением об этих путях" (с. 80-81).

Спорить с автором этих строк мне трудно. Во-первых, у него Европа, эта богатая своим культурным разнообразием, Европа, в которой столько жизненных сил и в которой идет такая напряженная борьба общественных форм (α πόλεμος πατὴρ πάντων), оказалась каким-то сплошным серым пятном. Во-вторых, эти споры о европейской культуре, гнила ли она или цветуща, сера или богата красками, мертва или жива эти старые споры всегда казались мне праздным занятием. И по очень простой причине. Европейскую культуру я люблю как солнце, тепло, чистый воздух; гниющих трупов и серых людей не выношу. Und damit basta! {и на этом хватит (нем.).} О западничестве своем я не рассуждаю так же, как никакой порядочный человек не рассуждает о своей нравственной опрятности. Я таков, car tel est mon plaisir {так как мне это нравится (франц.).}.

Но, конечно, jeder darf nach seiner Faèon selig werden {Каждый может быть счастлив по-своему (нем.).}, и г. Розанов такой же jeder, как и всякий другой. Только спорить об этом скучно. А потому не ради полемики скажу кратко, в чем видится мне мощь и смысл современной европейской культуры.

Эта культура в своих передовых течениях продолжает дело ренессанса и великой революции. Она возвышает личность, стремясь к тому, чтобы объективные условия полноты развития личности стали доступны всему человечеству. Таким образом, передовые течения новейшей западной культуры являются по своей идеальной цели последовательно проведенным, додуманным до конца, индивидуализмом. Эти течения неиндивидуалистичны или противоиндивидуалистичны лишь в своих средствах. Всесторонне развитая личность как цель, общественная организация как средство, вот та практическая "формула прогресса", которой движется вперед современное культурное человечество. Культура, идеал которой резюмируется в такой грандиозной формуле, не может быть названа серой и несложной. Наоборот, самое формальное противоречие между целью и средством говорит о полноте содержания этой культуры, о той сложной игре сил и соотношений, которая в ней происходит и в которой осуществляется ее рост. Индивидуализм как идеал

был и раньше заветным лозунгом новой европейской культуры; им он остался и до сих пор. В этом смысле все новые движения пришли "не разрушить, а исполнить". Вот почему те, кто стоит в передовых рядах современной западной культуры, могут не только справедливо, но и любовно относиться к прошлому своей культуры: в нем есть ростки будущего. Вот почему также индивидуалистическое мировоззрение Ницше некоторыми своими сторонами (идеальной целью) не только не стоит в противоречии с демократическими тенденциями нашего века, но, наоборот, наполняет их глубоким и богатым внутренним содержанием. Культ человеческой личности, ее внутреннее обогащение не менее присущ современной европейской культуре, чем XVIII веку; теперь только средства для возвышения личности стали иными, и другой общественный класс борется за эту великую цель. Я нарочно говорю о европейской культуре как о целом, потому что в лице славянофильства и вообще русской национальной романтики мы встречаем отрицание именно целого. У славянофилов, а в особенности у Герцена и Достоевского, мы, кроме того, натыкаемся на противопоставление европейской культуре разрушительной стихии пролетариата, который якобы грозит смести не только буржуазию, но и всю выработанную Западом цивилизацию. Это поистине детское и варварское представление о "варварском" характере и "варварской" миссии западного пролетариата теперь, кажется, более уже не встречается у серьезных представителей европейской и русской мысли. Единство европейской культуры и причастность к ней пролетариата настолько ясно выступает в настоящее время, что не видеть этого единства и этой причастности может только слепой. Я желал бы заранее отстранить от себя упрек в том, что я затушевываю различные течения в европейской культуре, коренящиеся в антогонизме общественных классов. Эти различия есть, они очень велики, но, вопреки старому русскому баснословию славянофилов и до сих пор не умолкающему карканью западных реакционеров, они не распространяются на культуру как целое и прежде всего не распространяются на ее индивидуалистический идеал, на ее "дух жив". И потому, когда мы, новейшие и наиболее последовательные из русских западников, очень чутко разбирающиеся в разных голосах, раздающихся на Западе, очень хорошо умеющие различать разные краски, наслоения и струи его культуры, когда мы слышим огульную хулу на западную культуру, мы знаем, что хулят наше, нам дорогое и родное, хотя, конечно, ни Панама, ни Бисмарк, ни многие другие частные плоды или, вернее, порождения европейской "культуры" нам не дороги.

-

Разрыв между казенщиной и романтикой, выразителем которого является теперь г. Розанов, всего ярче сказывается в его воззрениях на школу. Он мог бы с полным правом над "Сумерками просвещения" поставить в качестве эпиграфа слова Ницше:

Staat heisst das kalteste aller kalten Ungeheuer13*.
* Государством называется самый холодный из всех холодных ужасов (нем.).

Г. Розанов ежится от холода государства; его отталкивает казенный характер современной школы:

"Границы закона узки. Мы должны, наконец, сознать, что государство имеет свою определенную природу, и, сколько бы ни усиливалось, не может переступить естественных ее пределов, как и человек никогда не может перепрыгнуть через свою тень. Государство есть только форма, оболочка, но не живой дух. В нем нет вообще ничего субъективного; и как творческим может быть только живой субъект, в государстве нет и не может быть ничего творческого" (с. 215-216).

"Задача просвещения вообще не может быть выполнена громоздкими органами государства: просвещение это эмбриология, это процессы в мельчайших, микроскопических тканях организма, между тем как государство в расчленении своем это анатомия. Отсюда новый вывод: что в просвещении государству принадлежит лишь образование, помощь, лишь самое общее и высшее руководительство делом, но инициатива и вообще все живое, самая работа должна принадлежать более мелким единицам социального сплетения: городу, сословию, церкви или семье и, наконец, более всего, лучше всего частному человеку, с его зоркостью terre a terre {К банальному (франц.).}, с его находчивостью" (с. 203).

Школа "стала интенсивно работающей фабрикой под наблюдением государственных инспекторов и с государственными рабочими, некоторым интенсивным производством душ человеческих почти по тому способу, как

некогда Парацельс производил своего маленького гомункула" (с. 167).

Стоя на такой точке зрения, г. Розанов, конечно, может только отрицательно относиться к самой казенной из всех школьных систем: к водворенной Катковым и гр. Толстым системе классического образования. Он дает мастерскую и поистине художественную характеристику этой реформы. "В уклад нашей жизни эта реформа вошла каким-то сухим и высокомерным листом; еще ничему не научив, она уже оскорбила и, естественно, не могла позднее ничему научить" (С. 185).

Наши школьные реформаторы взглянули на Россию, как на Простакову, на русских детей, как на Митрофанов. Г. Розанов спрашивает:

"Воспитательно ли, образовательно ли пусть даже вы входите в страну, действительно населенную Простаковыми, начинать ее "просвещение" с констатирования именно факта, что это все Простаковы. Слава Богу, вся Европа училась, просвещалась, и решительно мы не помним, чтобы какую-нибудь, где-нибудь страну инструкторы называли "страной Простаковых": впервые это у нас случилось. Angeli ангелы: пусть эта страна белокурых детей называется "Англией", так по записи средневекового хроникера произошло имя Англии и англичан, данное первыми священниками-миссионерами Рима. Вот первое зрительное впечатление, и уже сейчас ласка и, конечно, сейчас же просвещение. Но вот, после тысячи лет существования, к нам выходят новые инструкторы для переучивания, и первое, что мы слышим от них, есть "Митрофаны". Еще учение не началось, а мы уже оскорблены. Сузим поле зрения, войдем в классную комнату: вот перед нами, конечно, перепуганный и смущенный "Митрофан", обдумывающий, действительно ли его папа "Скотинин", и мама "Простакова": как, думаете вы, внимательно он слушает теперь наставления учителя? следит за окончаниями в extemporale {экстемпорале (лат.) письменная работа по переводу текста на иностранный язык без подготовки.}? Не возбужден ли он, не ожесточен ли? В ответ не смеется ли он злобно над всем, что вы ему говорите, и прежде всего довольно не без основания над вашим лицом, над вашею душою, знаниями, усилиями.

Задача и способ образования и особенно воспитания в ней (в современной школе) сообразованы исключительно с требованиями бюрократического удобства, бюрократических навыков, установившихся способов руководить, работать, воздействовать, наконец, наблюдать, размышлять. Ведомство народного просвещения у нас, разумеется, как и везде по существу своих действий, по характеру и по методам своего труда ничем вовсе не отличается от министерства путей сообщения, земледелия и государственных имуществ, финансов и пр., а между тем его задача совершенно другая. Все остальные министерства работают над материальными задачами, над грубыми вещественными предметами измеримыми, исчисляемыми, механически регулируемыми, и приемы, там созданные, приемы "общеимперской" работы, распространены на министерство народного просвещения, которое имеет своей сферой область духа, трудится над умственной и нравственной стороной человека. Войдите на урок в любой гимназии, по любому предмету; взгляните на этого чиновника в виц-мундире; взгляните на этих учеников в мундирчиках, которые не смеют шевельнуться, не могут задать вопроса учителю; взгляните на этот страх, обоюдно сковывающий первого и вторых, и вы увидите, что никакого, в сущности, просвещения тут не происходит. Если вы зорки присмотритесь к обману, тут совершающемуся, на эти подстрочники, подсказывания, притворное заикание, чтобы выиграть минуту и обмануть учителя, и вы увидите, что здесь происходит скорее развращение и притупление" (с. 159).

Чудесно делаемое г. Розановым сопоставление малого и великого, реформы Петра и реформы Каткова. Петр

"Не презирал страны родной
Он знал ее предназначение"14.

"Катков и его сателлиты выросли в нашей земле новой фигурой, с незнаемыми чертами. Страна, которую умел "не презирать" Петр, бывший ее истинным просветителем, этим людям очень, в сущности, не утонченного ума представлялась грубой доской, где им предлежит начертать слова необыкновенной мудрости. Одна тенденция этой мудрости ясна: где бы ни загорелось светом человеческое лицо набросить на него смертный покров. Сузьте фигуру Филиппа II Испанского до частного человека, пожалуй, раздвиньте фигуру Плюшкина до размеров короля, их обоих теоретизм, их размышления "про себя", боязнь ступить на почву, и столь плачевный неуспех в истории и частной биографии, и вы получите много черт Каткова и объяснение неуспеха его по крайней мере в педагогической сфере" (с. 191).

"Вакхическое упоение программами есть истинное культурное вандальство, потому что оно не видит тысячи точек, тысячи исторических, бытовых и даже физиологических обстоятельств, на которые вся "программа" должна бы оглядываться и, между тем, оно входит в жизнь с требованием, чтобы на нее все оглядывалось и, побросав выполнение огромной в нравах, религии, долге написанной программы и, в сущности, "в уровень" с редакцией "Московских ведомостей", село на парту и начало писать extemporale" (с. 186-187).

Быть может, наибольшей силы и изобразительности г. Розанов достигает в следующем обращении:

"Фигурка нашей "сельской учительницы" стала почти классической в своем смирении и безропотности; берегите этот начавшийся и еще не угасший порыв; он не вечен, он может надорваться, он может впасть в цинизм, если встретит грубость невнимания и безжалостное издевательство над собой. А раз погаснувший его невозможно возжечь, потому что загорелся он свободно, при стечении случайных исторических обстоятельств. Есть страны так же "темные", как Россия, но везде это понимается, как несчастье; и нет стран, где как у нас невежество стояло бы в вызывающей позе и чувствовало бы достаточный фундамент под этой позой. Оборванный в своем существовании "чиновник" министерства просвещения есть уже слагающая единица общественных нравов: он "жмется" и окружающая жизнь наглее на него наступает, т. е. в отдаленных последствиях это жмется книга, ежится журнал, газета и внутренне, духовно, ежится мысль, слово перед наступающей на них акцизной бандеролью. Так из подробностей, из мелочей слагается духовный образ страны и образуется траектория ее исторического движения" (с. 222-223).

Тут все образы и характеристики, точно вычеканенные, или, вернее, точно высеченные резцом настоящего художника.
А вот и другая характеристика, меткая, попадающая прямо в цель:

"Университетский устав 1884 г. "плохое extemporale", списанное нами у Пруссии, с его заменой вековых 4-х курсов восемью полугодовыми семестрами и с переименованием "кандидатов" в "студентов 1-го разряда", мы не продолжаем далее... конечно, этот устав не мог бы мыслью своей, своим точным содержанием ответить ни на один вопрос, почему именно то или это стоит в нем так, а не совершенно иначе? Нужна была перемена, ибо курс политической, а следовательно, и умственной жизни менялся или должен был быть изменен, и перемена, какая-нибудь, была произведена. Никакой органической работы не было в нее положено; даже никакой оригинальной мысли, кроме сужения одних рангов, расширения других, перемены в сроках".

Не имея ни возможности, ни охоты реферировать замечательную книгу г. Розанова, мы рекомендуем читателю самому взять ее в руки. В ней он найдет, конечно, странные и даже дикие взгляды (например, на розгу), но он встретит здесь в редком обилии мысль, сильную оригинальностью и глубиной, облеченную всегда в оригинальную и нередко в блестящую форму. А главное, он на ярком примере узрит воочию захватывающую идеологическую драму романтики и выход из этой драмы: конечный разрыв с казенщиной.
Как-то не хочется, говоря о драме, задавать вопрос: cui prodest {кому выгодно? (лат.).}, кому на выгоду идет разрыв? Но в качестве публициста, обязанного не только взирать на совершающееся, но и подводить ему итоги и выводить из него практические следствия, мы на латинский вопрос: cui prodest дадим латинский же ответ: duobus litigantibus tertius gaudet {двое дерутся третий радуется (лат.).}.
Разрыв между романтикой и казенщиной означает полное идеальное поражение последней, но вовсе не означает реального торжества первой. И в результате в выигрыше остается третий элемент: критика. Ей принадлежит самое лучшее и самое ценное: будущее.
В одной из своих статей, напечатанных, кажется, в "Русском обозрении", г. Розанов договорился в романтическом изуверстве до того, что без всяких околичностей заявил, будто русскому народу чуждо стремление к прогрессу, идея которого противоречит "русскому духу" 15. К счастью для себя и читателей, г. Розанов на своем собственном примере опроверг и продолжает опровергать эту дикую теорию-клевету на русский народ, выдуманную для апофеоза эпохи реакции, якобы воплотившей в себе заветное стремление русского народа к застою.
Страшен сон, да милостив Бог! На всех концах Руси замечается непреоборимое движение в направлении не романтическом, но и не казенном. Слышится "железная поступь" грядущей силы.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://filosoff.org/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения!